

как бы вливается в меня, его может и не быть рядом со мною, но он *тут*, во мне, я не хочу, но захвачен им и думаю о нем. И Он уже не Он, а Ты, поскольку *тут* во мне. В Я и Ты не различаются принадлежность к какому-либо роду, но как только мы их начинаем различать в качестве Он и Она, объявляется мужское и женское различие. Одновременно с этим появляется прецедент абстрактной отвлеченности и социальной дистанции. В русской культуре преобладает не индивидуализм, говорящий от Я и не объективизм, ссылающийся на Он или Оно, а опыт совместного способа существования, говорящий от Мы.

А.И.Лучанкин, К.А.Человечков, Н.А.Шеин

## ВЛАСТЬ И РЕЧЬ: К ПОЭТИКЕ СОГЛАСИЯ

Если бы безысходный миф о вечном возвращении действительно претворялся, тогда бы вслед за Ницше можно впасть в отчаяние. Ведь зная прошлое и будущее, каждый знал бы как и что говорить, как и что необходимо желать, помещая свои речевые эскизы на твердый планшет с калькулированными маршрутами неизбежных успехов. Распутица в стране одних заставляет надевать калоши-маски, чтобы сохранить свое — сокровенное, а других всячески шифроваться из страха быть узанными. Различие в используемых речевых репертуарах указывает на различие социальных позиций говорящих и пишущих.

Замечено, что в одних средово-локальных контекстах мы функционируем, прагматически выживая, а в других — живем и развиваемся, радуясь теплу и участию «своих». Каждый контекст — это Мир, потребляющий нас по-своему, требуя уместных себе репертуаров и ролей. Для удобства персонального выживания можно все миры-контексты типологически поименовать как Жизненные и Системные, наделив первые свойствами личностного роста, а вторые — статусом функционирования. Такая идеализация позволяет понять, почему в разных мирах мы используем разные речевые репертуары, а также природу социальных ролей (ведь твердые и повторяющиеся репертуары и есть роль, ее знаковая раковина).

Разворачивая эту интуицию-идеализацию, можно обнаружить, что дисциплина и ролевая власть Системного мира покоится на социально-технологическом детерминизме, задающим границы используемых речевых репертуаров «вот в этой конечной области значений». Здесь роль — суть ожидаемое поведение персоны в проекции на целерационально запланированный результат. Однако результат, успех, да и вообще достижительность соблазняет, порождая путаницу миров. Одержимость победительскими сценариями, властными разговорами, попаданиями в повторы только аргументативных и агональных дискурсов — симптом времени. Исповеди и рассказы о себе куда-то ускользают... Показывают мне удачного бизнесмена или политконсультанта, заработавшего на «мерс» в предвыборных играх и говорят: «Вот она, реализованная жизненная стратегия творческой личности!».

Однако, с нарративного обустроенного<sup>80</sup> места видно, что человек сознательно настраивается на победу везде и всегда, поведенчески и в

<sup>80</sup> Мы исходим из очевидного различия трех видов дискурсов — агонального (позиционного), аргументативного (аналитико-разделяющего) и нарративного (исповедально-соединяющего людей). — авт.

разговорах проектируя себя как вид (имидж) бойца, борца, социального каратиста... Конечно, норма и закон лучше безвластия, но справедливость выше закона. А милосердие и любовь выше справедливости, за которую бьются... Что-то здесь не вяжется, требуя более адекватной рамки для понимания того же победительства как «разделяющей субъективности» (тогда как социальность — это разделенная субъективность, веберовская ориентация-на-другого).

Продуманность нарративной позиции, с которой выстраивается иерархия «нестабильность — норма — справедливость — любовь», позволяет поименовать ее «прагматическим холизмом» (неопрагматикой). Это установка на бессмысленность индивидуальной самореализации в борьбе во всех мирах. Она требует адекватности средово-локальным контекстам, сопротивляясь переносу успешных сценариев из одного мира в другой. Здесь предполагается наличие у человека репертуаров и конгруэнтных им масок, выставляемых навстречу ожиданиям других — их обозрению и слушанию. Техники, навыки, умения удерживать и управлять вниманием людей, демонстрировать свои лучшие качества — капитал, ныне напрямую завязанный на экономику и политику. Метафорой неопрагматики может служить не «самореализация» и шахматная партия, исполняемая целерациональной личностью во всех мирах, а протекание масла сквозь механизмы Системного мира, что поддерживает их работу и позволяет достигать локальные цели<sup>81</sup>.

Прагматический холизм позволяет понять переживания и процепции человека как способы идентификации миров на системные и жизненные. Переживания — это уход из мира как обитаемого и теплого в ведомство системы, это расставание с человеческим во имя функционирования. Процепция — прохваченность будущим, предчувствие возможного мира как Жизненного. Переживание — плач и уход, процепция — радость и приход мира. Переживания и процепции диагностичны в той мере, в какой выражимы в Слове: слышимый репертуар определяет видимую роль «страдальца» или «оптимиста», например.

Удерживая установку прагматического холизма, рассмотрим «онтологию» речевых позиций, опираясь на подход О.Розеншток-Хюсси, затем дадим описание некоторых репертуаров, способных претендовать на духовную поддержку людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Завершим статью поэтико-феноменологическим этюдом, проливающим дополнительный свет на подход, развиваемый в тексте<sup>82</sup>.

## 1. К ОНТОЛОГИИ РЕЧЕВЫХ ПОЗИЦИЙ

Потребности в онтологическом конструировании опосредованы речью, словесной образностью, интонацией «скорого подвига» (жесты самоутверждения, подчеркивания приоритетности своего) или — в прохваченности чувством вины и ответственности — интонацией не-

<sup>81</sup> Подр. см.: Ульяновский А. Мифодизайн рекламы. СПб, 1995. С. 216.

<sup>82</sup> Термин «позиция», как это можно понять из Гуссерля, конгруэнтен «жизненному сценарию». Позиция — это твердое эго-сознание ролей и репертуаров, определяющих место человека в социальных иерархиях. Позиция отсылает к интенциональности (личностным смыслам), последняя — к «другим». Проще говоря, каждый из нас там и с теми, дарит и получает соответствующие воздаяния, которые адекватны позиции — месту в доступе к различным капиталам — социальным, политическим, символическим, экономическим, культурным (по Бурдьё). — авт.

выносимого одиночества, мольбой о поддержке и тем героическим бестрашием отказа от своего, когда будничное и привычное, ставшее повседневно-чужим и нейтральным, вдруг остается без слов. Невыразимость в слове, отказ от заговоренности, пустых и бессмысленных слов и, прежде всего, отказ от наблюдательства, не бывает сам по себе. Смена статуса миров — это трансгрессия основ и оснований. Гибель старого мучительна: молчание, отказ от слов, оплакивание себя-прежнего, покорность перед последствиями содеянного, потенция новой речи, искренней, беспощадно самосвидетельской и покаянной.

С этой точки зрения интонированной речи-рассказу, речи-исповеди противостоит власть объясняюще-монологической речи, аргументированная проповедь не только узкого специалиста, но и речь агонально-политическая, речь-позиция, придуманная имиджмейкерствующими властителями для побед в символических битвах.

Речь, если брать онтологию речи в смысле О. Розеншток-Хюсси, имеет четыре вектора, четыре интенциональные реальности, интонации и соответствующих способа использования воображения, легитимации его открытости и отсутствия (высказывания в модусах «Я, Ты, Мы, Оно» — различны в социальных ситуациях). Достаточно воспроизвести речевые интенции суда и судопроизводства, как станет очевидной социально-ролевая онтология речи, ее векторы-позиции, репертуары суждения, осуждения, защиты-оправдания, исповеди и мольбы. Энергетику речи можно представить «кинематически», когда устное слово — интонированное и адресное — натывается на властное сопротивление других слов, образующих пределы и преграды, очевидно свидетельствующих о человеческих страхах — ксенофобии, страхе быть узанным, боязни изоляции и одиночества, надеждах и потаенной потребности быть услышанным. Потребность в проговаривании, в диалоге и поиске общего, как и нужда в очевидности — не дань западной рациональности, а потребность возврата в собственность украденного зрения, потребность в светлом и ясном видении<sup>83</sup>. Тьма, темнота, серость отождествляются не только с прошлым, но и с непроясненностью собственных желаний, целей и перспектив. Вот и ждущая диалогичность дисплейной речи компьютера противостоит театральным и кинематографическим затемнениям: ведь темнота зрительного зала, во мрак которого вмещены и нивелированы «зрители», напоминает традиционную ситуацию «специалист-клиент». Темнота зрительного зала — риторика насилия *говорящего*, требующего вслушивания и вглядывания, заранее приговорившего всех «вместе» (в каком?) к *неподвижности* и невозможности поведенческого реагирования, диалогического реплицирования. Это политика власти, обеспечение себе привилегированного места. В этом смысле «виртуалка» компьютера — демократична, ибо учит коммуникативному ориентированию в новых «программных средах».

В темноте театра и кинозала зритель-клиент замораживается в собственных реакциях во имя идентификации со специалистами, с героя-

<sup>83</sup> Говоря по-русски, коммуникация позиционна, поэтому она больше разъединяет (уединяет), чем соединяет людей. Диалог — это техника очеловечивания коммуникации до равного и недирективного обмена: «диалог» букв. «через-словие», югда Я говорю — Ты слушаешь и наоборот. Это договор о прекращении огня и горизонт общения как поиска общего Лицом-Лицу. Общение — сборка (соборность) неслиянных сознаний, удержание общего интереса как смысла Жизненного мира разговаривающих. — авт.

ми экрана-сцены, передавая им свою суверенность (власть аргумента). Кража зрения, слуха, тактильности и в целом тела, его движения, осуществляется по согласию и покорности клиентов, зрителей и слушателей. Боевики со Шварценнегером, фильмы Тарантино, «бестекстовые» композиции «Агаты Кристи», консультации у престижных специалистов манипулируют восприятием клиента-зрителя-слушателя, осуществляя «тактильный прессинг», блокируя воображение. Можно сказать, что здесь свидетельски-наблюдательская «культура экспертов» и экспертиз достигла максимума технологичности, претворив тотальные претензии классической метафизики во власть локальных манипуляций, в социально-технологическую (воспитательную) работу — иногда весьма приближенную к ситуации диалога Лицом-к-Лицу. Здесь персона оценивается «объективно», по стоимости и успехам, когда свидетельствование-наблюдательство маскируется либо в утонченно-телесные техники вкуса, или в грубость агонального предпочтения «своих». Организация уединенных сознаний (за счет «выключения» их наблюдения и рефлексии) в локально групповые тела — это власть ограничения воображений, власть избранных слов. Для того, чтобы народ не ужасался, когда власть показывает ему свое лицо, сегодня применяются, например, репертуары «ситуативного лоббирования» и «войны компроматов» из арсенала «черного PR» (антитехнологий). Все эти репертуары стилизуют и пародируют Слово, усиливая ностальгию по искренности, наполняя повседневные разговоры интонациями надежды и страхов.

«Ирония — пишет М.Бахтин, — есть повсюду — от минимальной, неощущаемой, до громкой, граничащей со смехом. Человек нового времени не вещает, а говорит, т.е. говорит оговорочно... Речевые субъекты высоких вещающих жанров — жрецы, пророки, проповедники, судьи, вожди, патриархальные отцы и т.п. — ушли из жизни. Всех их заменил писатель, просто писатель, который стал наследником их стилей. Он либо их стилизует (то есть становится в позу проповедника и т.п.), либо пародирует (в той или иной степени)... *Специфический изгиб трезвости*, простоты, демократичности, вольности, присущий всем новым языкам,... все они в известной мере вышли из народных и профанирующих жанров, все они в известной мере определялись длительным и сложным процессом выталкивания чужого священного слова и вообще священного и авторитарного слова с его непререкаемостью, безусловностью, безоговорочностью. Слово с освященными, непреступными границами и потому инертное слово с ограниченными возможностями контактов и сочетаний. Слово, тормозящее и замораживающее мыслью... В процессе борьбы с этим словом и отталкивания его (с помощью пародийных антител) и формировались наши языки»<sup>84</sup>.

Изгиб трезвости, нигилизм естественного человека, гротескный реализм — обращение к дорефлексивности Жизненного Мира (то, что характерно лишь для позднего Гуссерля), к мифоритуальной и традиционной подпочве социальности — для позиции Бахтина характерно изначально. В этом смысле не будет натяжкой сказать, что проект феноменологии речи — это возврат в человеческое, в рассказ-исповедь, возврат человеку его Я-высказываний, возможных лишь в живом присутствии Другого, в непосредственности телесной данности Лицом-к-Лицу:

<sup>84</sup> Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 355—356.

может быть, сквозь нынешнее варварство и неоархаику пробивается этот плач-смех по украденному воображению? Да и сами они — не замена ли живого Другого на его светлый Образ?

Речь двунаправленна и подобна бифокальности зрения, отрабатывающего свою оптику в изобретении все новых и новых сочетаний обратной и прямой перспектив. Обратная перспектива речи — это усложнение репертуаров свидетельств, описаний индивидуальной жизни, политических инвестиций в тело (М.Фуко), сценарных типизаций и судьбических проектов, образцово вырабатываемых говорящими и пишущими элитами. Для человека обратная перспектива оценивающего слова проявляется в энергетике вызывающих к теплу и участию *традиций* (в данности/взятости и в ситуации Лицом-к-Лицу) и в заданности системных в своих требованиях *институтов* (роли — это институты, инвестированные в тело как ожидаемое поведение). Здесь активизм прямой перспективы часто проявляется как поиск слов, как речевая «заумь и тарабарщина», свидетельствуя о непринадлежности человека к какой-либо группе (клану, семье, профессиональному сообществу, элите и т.д.). В глазах политически и литературно нагруженного наблюдателя такое речевое поведение является не свободно-выборочным и барочным, но «примитивом и варварством», свидетельствуя в свою очередь, о классической позиции оценивающего, власти просвещенческих образцов. Однако, типирюя другого, я типирюсь сам (А.Шюц).

Дрессуре тела и речи, прописи «в натуре» господствующих сознательных представлений (образцов, имиджей) по-детски противостоят пародийно-игровые «антитела» (Бахтин), предпочитающие не рефлексировать и наблюдать, а просто жить-выживать, простирая Жизненные миры вокруг собственной рече-телесной вселенной. Все остальные Миры антигерои телесно пародируют и помещают на разные орбиты-удаления по предпочтительности их обитаемости. Интонации речевых поз и позиций оказываются сегодня знакомым фактором разлитой повсюду власти, а поэтому — *открытым присутствием социально-го*, которое шифрует и прячет свои траты, потенции и проекты в «как-бы» очевидной «бесструктурности» предпочтений и функционирования, персонально проявляясь в соционеврозах — тревожности и страхе за выживание «своего» (агональность — симптом потери, утраты и трат).

О.Розеншток-Хюсси на примере позиционного противоборства на суде носителей различных репертуаров и ролей великолепно показывает мирформистское значение речи, конституирующей «крест реальности» — четыре речевых интенции: «Прокурор, обвиняемый, адвокат обвиняемого и судья суть четыре человека. Считать, что все эти люди говорят на одном и том же языке — значит толковать процесс судопроизводства крайне превратно. Наоборот, естественно ожидать, что у каждого голоса — своя мелодия, своя партия»<sup>85</sup>.

Итак, каждый играет свою игру. Но многоголосие ансамбля начинается с жалобы истца: в древности — это погребальная песня, демонстрация всего трупа или его «фрагментов»<sup>86</sup>, ныне — демонстрация результатов работы дознавателей и следователей. В любом случае суду представляет-

<sup>85</sup> Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность. М., 1994. С. 96.

<sup>86</sup> «Фрагменты тел» — неологизм, порожденный известными реакциями на взрывы в столице. Обратить внимание на безличность словосочетания. — авт.

ся нарушение закона, которое должно быть представляемым представлением, *видимым или услышанным*. «Задача ответчика заключалась в том, чтобы не позволить истцу превзойти его в драматизме. Ему надлежало прежде всего раскрыть публично, на миру свое внутреннее «Я» (Община или «мир» в те дни была и судом). Ему, конечно, было очень трудно говорить о своем внутреннем мире, как это мучительно и сегодня. Он должен был обнаружить перед людьми свои лучшие чувства, свою преданность Богу и людям, свою религию»<sup>87</sup>.

Для выполнения этой нарративной задачи, во-первых, друзья и родственники поддерживали ответчика печальными песнопениями; во-вторых, родственники истца должны были сопереживать ответчику в этом опасном предприятии самораскрытия на публике. Ритуал по мысли О. Розеншток-Хюсси, способствовал *исповеди* за счет возбуждения у ответчика стыда как состояния сознания (давление внутреннего отклика на внешний эмоциональный оклик-прессинг), необходимого для проговора правды. В сегодняшнем суде эту ритуальную функцию выполняет присяга. «Присягая, человек отдавал все свое будущее в руки карающих богов. Пребывание в суде, длившееся не более нескольких часов одного дня, он связывал со всей остальной своей жизнью. В то время как жалоба поступала в суд извне, присяга открывала всю внутреннюю жизнь, надежды и страхи человека, подвергаемого обвинению... Внутренняя реальность овнешняется тогда, когда речь по своей эмоциональной силе доходит до белого каления... Подлинный процесс судопроизводства включает в себя различные стили раскрытия человеком действительности, так как он представляет собой одну из *полноценных моделей человеческой речи*. Суд за время однодневного слушания вбирает *факты и чувства, воспоминания и планы*, имеющие бесконечно большую протяженность во времени и пространстве. Дефиниция — это квинтэссенция такого сконденсированного процесса. Так вот, *процесс правосудия служит матрицей для философских рассуждений*. Греки перенесли его из своего polis'a в Академию. Платон никогда не начинает с дефиниций. Да и как это возможно в диалоге? Мы не можем начать с последней фазы — общество не назначало нас *законодателями!*»<sup>88</sup>. Четыре позиции — четыре координаты речевой компетенции, проявляющей себя апелляцией к прошлому (траектив) и будущему (проектив), к проблемам субъекта (субъектив) и к общему, полагаемому объективно (объектив). Этим координатам соответствуют регионы культуры, исторически доминирующие на определенных этапах, а также типы речи и местоимения.

На наш взгляд, социальная грамматология Розенштока имеет ресурсы для методических применений. «Крест реальностей», примененный к профессии социального философа, занятого трансгрессией (поправим, фазовым переходом, переключением гештальтов восприятия) миров, работающего с переживаниями и процепциями «клиента» — себя как другого и другого как не себя, — может быть истолкован в четыре задачи: а) институционального *истолкования* фактов трудной жизненной ситуации клиента (объектив); б) выражения отношения к *переживаниям* клиента (субъектив); в) интереса и сопричастности к его

<sup>87</sup>Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность. М., 1994. С. 97.

<sup>88</sup> Там же. С. 98—100.

рассказам о себе (траектив); г) поддержки *планирующей* деятельности клиента (проектив). Эти задачи конкретизируются направленностью, поскольку Розеншток подключает к четырем речевым реальностям *движение*, создавая пространство расположения слова. Говоря, человек «начинает сознавать свое действительное место в истории (назад), мире (наружу), обществе (внутри) и призвании (вперед)... Во всех четырех сферах жизненного опыта, благодаря переключению нашего внимания вперед, назад, внутрь и наружу, вы пользуетесь одной и той же темой «подойди»... Говорить, по сути дела, значит: быть либо лидером («подойди»), либо ученым-наблюдателем («он идет»), либо историком или летописцем («он пришел»), либо поэтом («пусть войдет»)». Язык как целое содержит в себе научные, политические, исторические (или институциональные) и поэтические элементы. Поэты, политики, ученые и администраторы специализируются каждый в каком-то одном из направлений, указанных крестом реальности»<sup>89</sup>.

Исходя из принятого нами членения исторических этапов становления социальности и модусов воображения<sup>90</sup>, концепцию Розенштока можно представить таблично. При этом все четыре координаты «креста реальности» понимаются как существующие *в настоящем*, как сама-себя-типизирующая живая человеческая речь (например, говорение от общины, коммюните, тусовки или неоплемена — характеристика неархаической социальности, представленной очевидно и гласно).

Вглядывание в таблицу позволяет поставить вопрос о репертуарах духовной поддержки (социо- и антропотерапии).

	Типы социально-речевых ориентаций			
	Архаическая (неоархаическая) социальность.	Авторитарно-ролевая (традиционная и классическая) социальность.	Уединенная (современная) социальность.	Конвергентная (постсовременная) социальность.
Координаты «креста реальностей».	Траектив (отображение).	Объектив (соображение).	Субъектив (изображение).	Проектив (преображение).
Речевая ориентация (кинематика).	Прошлое (назад).	Вовне (наружу).	Внутри (в себя).	Будущее (вперед).
Типы речевых высказываний.	Мы-высказывания (утвердительная речь).	Оно-высказывание (техническая речь).	Я-высказывание (лирическая речь).	Ты-высказывание (императивная речь).
Доминирующие регионы культуры.	Миф: ролевая ритуальность.	Наука: научение-ученичество.	Искусство и администрирование: индивидуальное самовыражение и ролевое поведение.	Политика: поиск согласия и компромиссов.

## 2. РЕПЕРТУАРЫ ДУХОВНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Собственное Я в разговоре существует как реакция на Ты, явленное в поверхности и гласности имиджей (образов). Кинематика высказываний может пониматься в контексте посредничества философа, коммуникативно ориентирующегося в разных мирах-локалах (философ как миротворец-интерлокер), в пластике этик, типик рациональности и форм вос-

<sup>89</sup> Там же. С.58—59.

<sup>90</sup> Подр. см.: *Лучанкин А.И.* Социальные представления: образ виртуальной философии. Екатеринбург, 1997. С. 257—269.

приятия. Здесь «клиент» — это я или другой, попавший в трудную жизненную ситуацию: другой как Другой — это не Я, тот, кто мной не является. Другой как модус моего Я — это субличность, переживаемая проектом маски, необходимой для функционирования в некогда Жизненном, а теперь в Системном мире. И здесь требуются различные разговоры, т.е. жанрово-тематические репертуары, определяемые не лингвистически, а в зависимости от социальных представлений «клиента» и его средово-локального контекста. Таково требование установки прагматического холизма. Не претенциозно ли (властно) такое понимание?

Внушать доверие в роли проповедника и врачевателя человеческих душ, говорить не только в аудитории, но и в суицидном центре, работать на телефоне доверия, в хосписе и даже в тюрьме и в приюте для бездомных детей или престарелых — выбор не для каждого. Метафизико-эстетические, мистико-мифологические, традиционно-теологические и социально-политические репертуары, образующие поле современного литературно-философского дискурса, потребуют перенабора, если начнут применяться в качестве инструментов исцеления (сознания) индивидуальных и групповых субъектов российской, т.е. разорванной повседневности<sup>91</sup>. Антропологизация и феноменологизация этих репертуаров требует, на наш взгляд, их «разобъективацию» — переписывание универсалистских схем в парадигме прагматического холизма, применительно к локально-средовым проблемам людей («клиентцентрированности», если говорить в языке западных социальных работников). Проектирование практик такого рода предполагает *коммуникативное ориентирование*, «адхоккерное» (ad hoc) пилотирование относительно исповедуемых людьми теоретических стратегий и традиций. Соответственно этому можно выделить натуралистически, теоцентрически, экзистентноцентрически и социоцентрически ориентированные проекты духовной поддержки, ни на секунду не упуская утопичность всего предприятия, т.е. не претендуя на власть единственного образца и понимая локальную применимость предлагаемых репертуаров.

*Натуралистически-ориентированное* философствование будет терапевтичным и валеологичным, если поможет человеку властвовать собой, гармонизировать психосоматические и субличные ресурсы, усиливая жизнестойкость «в натуре», выдерживая социальные и собственные репрессалии (удерживаясь от неврозов и аутических психозов). *Теоцентрические* репертуары терапевтичны религиозностью — милосердием, состраданием и любовью к ближним. Они позволяют преодолеть страх конечности собственного существования. *Экзистентно-ориентированные* репертуары актуализируют тему человеческого достоинства, ответственности перед другими, стремление к свободе, усиливают мужество перед лицом любого абсурда. *Социально-ориентированные* репертуары направляют к поиску общего, проясняют возможности объединения усилий людей для решения локальных (и глобальных) проблем, обнаруживают горизонты общего счастья, достижений и успехов индивидов (интерсубъективность как общее).

На наш взгляд, эти четыре репертуара, выделенные идеально-типологически, все же могут способствовать возникновению речевых прак-

<sup>91</sup> Повседневность разорвана, т.к. каждый из нас не застрахован от вмешательства государства в нашу частную жизнь. — авт.



тик, в которых генерируются постневротические и постаутические перспективы личностного роста «клиента» (Другого как не-Я, себя в роли другого). В связи с этим проговорим четыре речевых позиции-отношения с клиентом, сценарно зафиксировав их терапевтическое значение.

1) *Мы-высказывания*. Клиент или часть моего Я «кричит», представляет от субкультуры, тусовки, локальной группы, маргинального меньшинства или от утраченного Целого — идеологического, коллективного, космического. Персонализация и детализация образа Мы (кто эти «мы»?) позволяет прояснить детали биографии и образа жизни «клиента», понять свои/его мифы и желания, конкретизировать запрос о самопомощи и помощи. Конфликт с «ними» — приватными, успешными и чуждыми («не моими и/или нашими») и т.п. обнаруживает страх ответственности за перемену образа жизни, перед возможностью ролевого поведения («в границах»).

*Поддержка*: наработка социального капитала — организация знакомств, участия в различных локальностях, фиксация выживающих масок, ориентированных на индивидуальный успех, использование религиозно-теистических и социологических речевых репертуаров для проецирования нового уклада жизни и поиска «своих»: жить надо не только сегодня, но и завтра и потом.

2) *Оно-высказывания*. Клиент или модус Я строго представляет от специальности, от роли, функции, общечеловеческих норм как технических, наблюдая и рефлексирюя. Желания и персональность маскируются («объективностью»), обнаруживая запрос на участие, интимность, душевность. Этика силовых решений и сверхритуализированных времяпрепровождений свидетельствует о страхе перед телесностью, естественностью, участием: люди злые, люди обманщики, расслабляться ни с кем нельзя (буквализация Шаламова — ни кому не верь, ни у кого ничего не проси, никого не бойся).

*Поддержка*: сензитивные тренинги, обмен чувствами, использование экзистентных и натуралистических репертуаров для сценирования телесной «жизни в природе», обмена самообразами, переоткрытия собственного внутреннего мира и ценности неповторимой индивидуальности.

3) *Я-высказывания*. Клиент либо моя субличность представляет то ли от гиперперсональной идентичности (себя богоподобного), а то и дистанцирует от критики и упреков в собственных неудачах и ошибках. Анализ несбывшихся проектов, особенно на стадии первичного сценирования, обнаруживает конфликт со сферой публичного, неисповедальности себе и другим: здесь Я — суррогат маски, позволяющей уйти от демонстрации неприятного факта, связанного с убеждением, что чем публичнее самораскрытие или исповедь перед чужим человеком, тем анонимнее должна быть речь.

*Поддержка*: коммуникативно-ролевые тренинги, рефлексии и разговоры о необходимости принятия себя и своих неудач как уникальной истории, использование экзистентных и натуралистических репертуаров для сценирования проектов организации «клуба по интересам», примирения внутренних и внешних желаний, принятия других как миров, которым можно исповедываться.

4) *Ты-высказывания*. Клиент или часть моего Я представляет авантюрный стиль жизни, демонстрируя ответственность под наблюдением

нием (на глазах у начальства), но неспособность работать в одиночестве, жертвовать сиюминутным во имя взятых на себя обязательств. Страх ответственности не только за других, за дело, но и за себя скрывается за позой покорности судьбе.

*Поддержка:* теистические (альтруизм, сострадание, милосердие), а также все остальные репертуары используются для проектирования места, маски, ситуации, отношений и т.д., где клиент или моя субъективность (образ Я в данном мире) фиксирует локальное целое, в обратной перспективе которого достигает локальных же целей, берет на себя обязательства и выполняет их (активизация прагматического воображения).

Завершая этот фрагмент статьи, подчеркнем: власть слов показывает социальную идентичность, речевую компетентность говорящих. Мой разговор представляет и представляет мое место в Системном мире, мою политико-экономическую состоятельность. Называя и оценивая, именую и проектируя, каждый вызывает к существованию желания и представления. Речь классифицирует и типичирует миры: типичируя других, я типичируюсь сам, разделяя людей на своих и чуждых, а миры по степени обитаемости или функционирования (другие либо самоценны, либо средство для моих целей — достижений и потребления). Так тематизируется мертвое и живое в речи.

### 3. МЕРТВОЕ И ЖИВОЕ СЛОВО

Власть называть и вызывать к существованию касается игры и цитирования, слов живых и вампирных. Живое слово спонтанно и непосредственно. «Тарабарщина, — пишет К. Наранхо, — это действие, объединяющее *несистемность* и *инициативу*, которое не может быть отрепетировано. Готовность к тарабарщине — это готовность сказать о неизвестном, заранее непродуманном. Каждый, кто экспериментировал с нею знает, насколько она есть выражение момента, его ощущения и настроения. Именно отсутствие структуры предопределяет тарабарщину: она послушно открывается внутренней нашей реальности подобно художественному произведению»<sup>92</sup>.

Буквальные вокализации, телесно выражаемые ритмы типа песнопений (какое русское застолье без песни!) в атмосфере неукротимого шаманства, беззажимного лицедейства и карнавальности, чувство свободы и, главное, снятие всяческих условностей осуждения и наблюдательства, — показатель обитаемости мира и качества группового процесса. Группа состоялась, команда есть, локальная общность существует, если люди искренни, элементарно не боятся друг друга и спонтанно самореализуются. Для социального философа, имеющего дело с социальными представлениями — своими и других, с утопиями и идеалами — именно здесь верифицируется установка прагматического холизма, удержание себя в позиции «интерлокера», ответствующего за со-гласительный смысл речевого поведения; тарабарщина, спонтанное словотворчество и сочинительство, прорывы к исповедям и рассказам о себе противостоят «маленьким смертям» — антисоциальным демонстрациям уединенного сознания, уставшего от одиночества и ролевого функционирования...

<sup>92</sup> Наранхо Клаудио. Гештальт-терапия: Отношение и практика атеоретического эмпиризма. Воронеж, 1995. С. 103.

Я говорю о смерти или репетирую ее приход в ускользании от определений и типирований, в экстазе и безумии, в беспричинном смехе-содрогании, в оплакивании ушедшего мира, в наркотиках и опьянении. Я не могу испытать смерть непосредственно, но переживания и процепции, телесные трансформации возраста изменяют разговоры и мысли о ней: поэтика согласия с ней — привилегия религии. Будучи зрителем, слушателем и наблюдателем смерти других (например, в телевизионной некрозифории), я иллюзионирую собственную смерть, а вместе с этим удерживаю в себе уже отошедшие и умершие состояния, ненужные субличности и роли, хватаясь за мертвое в надежде его реанимации. Сверхпрофессиональная лексика мешает гибкости и пластике реакций на изменения жизни, серьезность подавляет пуерильность (детскость), страхи — проективность, груз пережитого — виртуальность (процепцию возможных миров как Жизненных). Место социального философа — «между слов», особенно серьезно-оценочных, официальных, безысходных, претендующих на безусловность «онтологии» или власть «развития» к известному.

Смерть есть основа страха самой социальности: во мне страшится сама социальность, страшится мой список привычных «Мы-высказываний», обмирая перед возможностью бессвязности и несоциальности, хаоса и беспорядков, но более всего — перед одиноким умиранием. Религиозность здесь — это репертуары самого воображения, интимизирующего смерть, смиряющего пределы и рамки социальности перед невообразимостью умирания, не имеющего пределов, рамок и окончаний. Религиозность — связь интимных слов с Культурой.

Тело конечно, речь и воображение бесконечны, поэтому страх смерти совпадает с бегством от тарабарщины как «рекущей речи», где отсутствует Я и воображение себя. Маленькие смерти-трансгрессии понятны именно потому, что подставляются под речь Других. Отрепетировать свою смерть можно только через речи других, через их воображение, отличное от собственного воображения и разговора. Другой задает границы не только моим реализациям, тематизируя безопасность моего Персонального Мира, но и провоцирует на репетиции умираний, побуждая меня к трансгрессиям. Невозможно вообразить свое отсутствие в мире.

Тарабарская пуерильность, детская игра и взрослая спонтанность — черновые наброски бессмертия, оправдания смертных грехов, очевидности творческой юности миров, их витальной энергетике, на фоне которой аутизмы философа или коллекционера сродни репетиции смерти, потенцируя покой синтеза и профетических завершений. Музеи восковых фигур, теории социальных систем, частные коллекции — это покой, это *покойники*, которые в разговорах символизируют порядок и регулярность, безопасность и рамочную определенность, литературность и рациональную власть Системного Мира. Речи в них просты и возвышенны, величавы и эпичны, утверждая законность отошедшего в прошлое, где всегда порядок и безопасность. Тогда с чего же начинается философия — со старческого плача над усоншими или с улыбки и тарабарщины ребенка?

Если слова-покойники отсылают к мифам, к порядку и «Мы-высказываниям» (разбирая Гегеля, я с ним), то слова мертвые и слова-трупы

задают энергетику агональных дискурсов, речевые напряжения борьбы с воображениями других как чужими и чуждыми моему (своему), т.е. зеркальными мне воображениями, присутствиями «монструозных» миров, обесмысливающих мой мир простым вопросом «как это другой и не Я?» Старческий плач над усопшим плохо согласуется с улыбкой ребенка: словам-покойникам активно противостоит новизна становления — тарабарская пуерильность юности, виртуальности, телесности. Но вот словам трупам подходят слова-функционеры, подходят уже отслужившие свое, но по инерции используемые вещи (покойники в доме); таковы технические и ролевые репертуары Системного Мира, застрявшие по дороге на кладбище и пугающие живых как чужие покойники, оплакиваемые лишь близкими («я семь лет был руководителем, а теперь...»). *Инерция слов тематизирует Власть как социальную проблему.* Вот почему основные речевые инсценировки и драмы разворачиваются между бес-покойными словами, словами-мертвяками, сбежавшими из музея-кладбища и напавшими на живые слова тепла, любви, участия, незаконно поселившись в доме. Эти слова властно-пугающи и весьма похожи на вампиров, упырей, вурдалаков, ожившие трупы, поскольку они захватывают и замораживают подвижность Жизненных и Системных миров, жестко внедряя границу «живое-мертвое», поселяясь в индивидуальном воображении как живые существа (существительные, онтологические сущности, несомненности — без переживаний и концепций — догм и верований). Для успокоения мертвяков нужны особые средства — крест, кол, серебряная пуля, а для слов, противостоящих, полагающих, поставляющих людей между собой в ролях врагов, слов ненависти и вражды, слов подчиняющих и слов властного произвола — нужна рефлексия социального философа, успокаивающего паранояльно-взбесившиеся социальные представления. Здесь требуются *нетрадиционные* и воистину пограничные средства, иначе мертвые слова реанимируются: «новые русские» на самом деле начинают существовать, вызывая ненависть; «целостность России» оказывается объективной сверхценностью, требующей подпитки живой мальчишеской кровью; профессиональные представления становятся важнее живого общения и сомнения... Не здесь ли перспектива социального философа быть «пограничником» миров и «переносчиком» слов, который пытается утопично и в этом смысле «властно» проявлять заботу об экономике и экологии воображения?

Сила мертвых слов — в их размножении за счет ими же убитых воображений: противоположность вещи — не другая вещь, а ее удвоение (Бодрийяр). Вывернутая зеркальность власти мертвых слов — знак скорби, оскорбления живых, заботы мертвого о живом. Например, забота о теле — здоровье, витаминах и режиме (медицинско-техническая речь), забота о снах в психоанализе — это вампиризация воображения, население его зомби-существительными, призраками и страхами, проецируемыми на идеал успешности и труп «неудачника». Здесь эротика логично отождествляется с производством вещей, эротика собственности воображения — сделанности Произведения (Вещи) — с волей предпринимателя вкладывать деньги и страсть безразлично в *любое дело*: лишь бы было прибыльное. Мертвящие слова, объясняющие тело, делают не только его бес-покойным, но и умертвляют одежду, вещи, куль-

туру и речи других. Успокоить тело, придать ему экологические границы целостности, экономии воображения — значит разделить с ним «плацебо» возвышающей утопии, вернуть радость существования. Евангельское «В Начале было Слово» означает для социального философа обратную перспективу со-гласия. Ее горизонт — в представлении, в розыгрыше и пуерилизации оппозиции «мертвое/живое», в разговорах о Жизненных мирах (ЖМ) как сверхценности умирания и возрождения, где необратимые траты и смерти живого, а поэтому кристаллизацию ролей, репертуаров, масок, субличностей навстречу избранному Системному миру (СМ) следует сопровождать ритуалом трезвого отпевания и успокоения жившего и отжившего. И все то, что уже умерло, но не проговорилось, не вышло на свет в суе и жизненной гонке, причиняя человеку непонятное и отнимающее энергию беспокойство, выводится в очевидность рассказа-самосвидетельства, обретает смысл биографии и события, бытия-с-миром. Бытия-в-проекте...

Отобразим сказанное о рече-терапевтирующих философских репертуарах в итоговую табличку:

	Типы речевых ориентаций клиента			
	Архаическая (неоархаическая) социальность.	Авторитарно-ролевая (традиционная и классическая) социальность.	Уединенная (современная плюральная) социальность.	Конвергентная (постсовременная) социальность.
Доминирующие темы оппозиций и конфликтов.	Свое/чуждое, общинное/приватно-обособившиеся, желаемое/нежелаемое.	Целое/индивидуальное, общее/интимное, производство/потребление.	Уединенное/публичное, индивидуальное/группистское, престижное потребление/непрестижное.	Ответственное/безответственно, поиск общего/авантюрное.
Возможные репертуары духовной поддержки, некоторые метафоры сценирования жизненного проекта.	Теистические, социологические (уклад, клуб, тусовка, неоплемя, субкультура, комьюните, община).	Натуралистические, экзистентные (телесность, натура, внутренний мир, индивидуальность желания).	Экзистентные, натуралистические («клуб по интересам», Маска-Персона, команда «своих», проект, ограничение потребности).	Любые репертуары, согласующие желания внутренней и внешней социальности в отношениях «клиент-среда» (игра, Маска-Персона, общий интерес, поиск общего, обязательства, здесь-и-теперь, достижение малых целей).
Речевая позиция социального философа: аспекты содержательно-ролевого поведения.	Интерес и социальная причастность к рассказам клиента о себе (мифы) и желания, специфика запроса о помощи).	Ведомственное истолкование фактов трудной жизненной ситуации клиента (что надо делать в СМ, постановка по среднечеловеческой задаче).	Выражение отношения к переживаниям клиента (что из прошлого не дает покоя клиенту, что мешает повысить обитаемость данного ЖМ).	Соучастие в проектировании клиента (что пропенсируется как возможное и желаемое в ЖМ).

Каждый из нас не умнее социальных представлений и представительств, представляемых в речевых играх. Но и не глупее, имея возможность выбирать — служить им и(или) разыгрывать их, исходя из ситуативных потребностей жить или выживать. Поэтика согласия и смирения, дистанцирование к властным репертуарам — реальность «креста», который несет на себе всякий думающий. Вместе с тем это поэтика устной речи, творящей социальность за счет объединения или разделения людей. Репертуары духовной поддержки, социальные метафоры, названия и зывания к мирам — средство усиления жизнестойкости и обитаемости, поисков согласия и примирения с другими и самим собой. Я есть тот, каким представляюсь, а моя роль «неудачника», «мудреца» или «крутого» наивно и по-простому определяется моими речевыми репертуарами.

Ал-др Г.Кислов

## ОБ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ ИСТОКЕ ПОЗНАНИЯ

Сегодня уже ясно, что монологическая теория познания — конструкция слишком искусственная. Вопреки монологической гносеологии познание внешнего субъектам мира — часть общения Я и Ты. В марксизме это называется социальной детерминированностью познания. Не отрицая социальную детерминацию экзистенциальные диалогисты все же различают ее (как безличную среду отношений) и олицетворяющее общение Я и Ты (как гораздо более значимое и больше определяющее, в том числе, и в познании). В то же время, такой выдающийся диалогист, как М. Бубер, прекрасно понимал, что дело не только в общении Я и Ты. «Эту сферу... я называю сферой Между (*des Zwischen*)... «Между» — не вспомогательная конструкция, но истинное место и носитель межчеловеческого события... — не индивидуальное и не социальное, а нечто Третье. По ту сторону субъективного, по эту сторону объективного, на узкой кромке, где встречаются Я и Ты, лежит область Между»<sup>93</sup>.

Без этого Третьего человек остается вещью, даже если он не один, среди других. Между, Третье обнаруживает свою онтологическую мощь, превосходящую и силу вещей, и силу субъективной воли. Особенно сегодня «совершенно неожиданным образом жизнь людей стала определяться по преимуществу их отношениями. В постиндустриальном обществе люди нуждаются только в познании друг друга и должны «либо любить друг друга, либо умереть»<sup>94</sup>, — пишет Д.Белл. А любовь приходит в детстве. И если она не приходит, то человеческое не начинается. И насколько благотворна любовь к ребенку, которая ведь возможна не только при его рождении и не только при его вынашивании, но даже и задолго до зачатия: человеки ждут человека... Детство — начало человеческого пути, начало общения, исток всех отношений, в том числе, и познавательного отношения к действительности, начало познания, его экзистенциальный исток. Всякий познающий начался в качестве такового с детства. Детство фундаментально антропологически, экзистенциально, психологически. Детство фундаментально и гносеологически.

<sup>93</sup> Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С. 230—232.

<sup>94</sup> Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. N.-Y.: Cornell Universiti Press, 1976. P. 149—150.